

Виктор Вайнерман,
директор Омского государственного
Литературного музея имени Ф. М. Достоевского

Омская каторга и «перерождение убеждений» Достоевского

Ф.М. Достоевский стал узником Омского каторжного острога 23 января 1850 года. Омск в это время — центральный город Западной Сибири. Здесь находилась канцелярия Западно-Сибирского генерал-губернаторства, Главное управление Западной Сибири, штаб отдельного Сибирского корпуса и первый в Сибири кадетский корпус. Омск тех лет — город в основном чиновников и военных.

Достоевскому Омск не понравился. Его взгляд на город — взгляд из острога, у него не было возможности составить всестороннее представление о месте, где он провел тяжкие годы своей жизни. Почти сразу по выходе из каторги он писал брату: «Омск гадкий городишка. Деревьев почти нет. Летом зной и ветер с песком, зимой буран. Природы я не видел. Городишка грязный, военный и развратный в высшей степени». Сколько усталости и боли в этих словах!

И совсем другая характеристика города дана Достоевским в «Записках из Мертвого дома». Это место страдания и его «перерождения убеждений».

Городская жизнь прошла мимо Достоевского. Годы пребывания в Омске он провел в другом обществе, среди других людей.

«Это народ грубый, раздраженный и озлобленный», — рассказывал Ф.М. Достоевский брату Михаилу о каторжниках. «Ненависть к дворянам превосходит у них все пределы, и потому нас, дворян, встретили они враждебно и со злобною радостью о нашем горе. Они бы нас съели, если б им дали».

В каторге он был таким же бесправным, как и остальные арестанты.

На вновь прибывших в острог надевали арестантскую одежду — «лоскутные платья». Брили головы - «бродягам, срочным, гражданского и военного ведомства спереди полголовы от одного уха до другого, а всегдашним от затылка до лба полголовы с левой стороны». Такая незамысловатая «прическа» помогала острожному начальству при первом взгляде на человека определить, к какому «разряду» он принадлежит. Голова Достоевского была тоже обрита наполовину. На его спине, как и у всех, красовалась мишень: летом — черный круг, зимой - белый «гуз». Викторина с картинками.

Попытаемся представить среди арестантов Достоевского. Это был уже не тот «довольно кругленький, полненький, светлый блондин с лицом округленным и слегка вздернутым носом», известный в столице литератор. Куда подевались живость в общении, страстность в разговоре. В молодости, «хватаясь за какой-нибудь предмет, постепенно им одушевляясь, он, казалось, весь кипел, мысли в его голове рождались подобно брызгам в водовороте, в это время он доходил до какого-то исступления, природная декламация выходила из границ артистического самообладания».

В каторге Достоевский «имел вид крепкого, приземистого, коренастого рабочего, хорошо выправленного и поставленного военной дисциплиной», внешне ничем не отличавшегося от всех остальных. И только «сознание безысходной, тяжелой своей доли как будто окаменяло его. Он был неповоротлив, малоподвижен и молчалив. Его бледное, испитое, землистое лицо, испещренное темно-красными пятнами, никогда не оживлялось улыбкой, а рот открывался только для отрывистых, коротких ответов по делу или по службе. Шапку он нахлобучивал на лоб до самых бровей, взгляд имел угрюмый, сосредоточенный, неприятный, голову склонял наперед и глаза опускал в землю». Как и все окружавшие его арестанты, он был закован в кандалы сразу по прибытии в острог и носил их все четыре года.

Требование закона содержать арестантов «в строжайшей воинской дисциплине и наилучшей чистоте» не выполнялось. О «чистоте» в арестантской казарме вспоминал Достоевский, говоря, что здесь «все полы прогнили. Пол грязен на вершок, можно скользнуть и падать < > Нас как сельдей в бочонке < > Зимой мы одеты в полушубках, часто сквернейших, которые почти не греют, а на ногах сапоги с короткими голяшками — изволь ходить по морозу. Есть давали нам хлеба и щи, в

которые полагалось 1/4 фунта говядины на человека. Но говядину кладут рубленую, и я ее никогда не видал. По праздникам каша почти совсем без масла. В пост капуста с водой и почти ничего больше. < > Судя, можно ли было жить без денег, и если б не было денег, я бы непременно помер, и никто, никакой арестант такой жизни не вынес бы. Но всякий что-нибудь работает, продает и имеет копейку. Я пил чай и ел иногда свой кусок говядины, и это меня спасало». Прожить на «кормовые» деньги каторжник, действительно, не мог. «В день на человека» назначалось 9 копеек.

Достоевский вместе со всеми арестантами ходил на работы. Их водили на кирпичный завод, расположенный на правом берегу вниз по Иртышу, верстах в трех или четырех от крепости. По замечанию омского краеведа А.Ф. Палашенкова, работа на заводе считалась самой трудной. Каждому арестанту необходимо было выполнить «урок» — изготовить 2-2,5 сотни кирпичей, причем самому выполнить весь подготовительный цикл: вывезти и вымесить глину, нанести воды, а затем складировать готовую продукцию. В сарае, стоявшем на тогда пустынном берегу Иртыша, Ф.М. Достоевский обжигал и толоч алебастр (сейчас на этом месте находится пляж Центрального района г. Омска). «Алебастровцев» (так называли работавших при алебастре) отправляли на работу рано утром. По приходе арестанты растапливали печь и укладывали в нее алебастр. «На другой день, когда алебастр бывал уже совсем обожжен, его выгружали в ящики. Затем каждый арестант брал свой ящик и тяжелой колотушкой дробил его (алебастр — В. В.)». Это, по словам Достоевского, была премилая работа.

Вместе с другими каторжниками автор «Бедных людей» ходил в инженерную мастерскую, где вручную приводил в движение большое точильное колесо, разгребал снег на улицах Омска. Однако на какую бы работу ни попадал Достоевский, он, как дворянин, всегда находился в более тяжелых условиях, чем остальные арестанты. «Странно было бы, — писал Достоевский, — требовать с человека, вполнину слабейшего силой и никогда не работавшего, того же урока, который задавался по положению настоящему работнику». Всякая открытая помощь исключалась, так как грозила серьезными неприятностями по службе. «Поблажки нам насчет работы и содержания, — рассказывал Горянчиков, — не было решительно никакой: те же работы, те же кандалы, те же замки — одним словом, все то же самое, что и у всех арестантов». Понимая положение Достоевского, «инженерное начальство» пыталось облегчить его участь. Рассказчик «Записок» признается, что он и его товарищ (надо полагать — С. Ф. Дуров) «целых три месяца ходили в инженерную канцелярию в качестве писарей». Если считать это признание автобиографическим, то документы, переписанные Достоевским, должны существовать в архивах и могут быть со временем обнаружены исследователями.

Необходимо признать, что в «Записках из Мертвого дома» Достоевский никак не мог рассказать об оказанных ему послаблениях. Они все же были, и при внимательном прочтении упоминания об этом обнаруживаются в той же книге о каторге. Так, например, рассказчик высоко отзывается о коменданте крепости. Соглашаясь с мнением каторжников, он признает, что «комендант был человек очень порядочный». В устах лишенного всех прав дворянина это означало, что комендант помогал Достоевскому и, возможно, другим арестантам.

Когда в Омск в тюремном экипаже привезли Достоевского, комендантом Омской крепости был полковник Алексей Федорович де Граве. Отношения коменданта и каторжан были строго определены царскими указами: «Арестантские роты состоят в полной зависимости крепостного коменданта, он отвечает за строгим соблюдением правил, существующих на содержание и присмотр за арестантами» — отмечалось в инструкции. Комендант обязан был не допускать, чтобы «разжалованным арестантам» давали «чернила, бумагу, перья и тому подобное». Обо всем, происходящем в остроге, он знал из рапортов подчиненных ему офицеров. О том, что это были за рапорты, говорится в «Записках из Мертвого дома»: «в этом городе < > было столько доносчиков, столько интриг, столько рывших друг другу яму, что начальство, естественно, боялось доноса. А уж чего страшнее было в то время доноса о том, что известного разряда преступникам дают поблажку». О «поблажках» Достоевскому со стороны офицеров, которые по службе были подчинены коменданту, рассказывает писатель П.К. Мартьянов. Он же говорит, что комендант «знал, но делал вид, что не знает» об этой помощи. По тем временам знание и «недонесение» уже было позицией, а в случаях с комендантами, облеченными большой властью на местах, напоминало «соучастие».

А.Ф. де Граве стоит в одном ряду с комендантом Нерчинских рудников С.Р. Лепарским, о котором декабристы не раз вспоминали «с чувством душевной признательности». Такое чувство сохранил к «своему» коменданту и Достоевский.

В июле 1859 года, возвращаясь из Сибири, Достоевский проезжал через Омск, навестил коменданта в его доме (об этом мы узнаем из письма Достоевского своему семипалатинскому знакомому А.И. Гейбовичу от 23 октября 1859 года). Вряд ли писатель стал бы гостевать у человека, от которого в прошлом зависела его судьба, если бы тот равнодушно наблюдал за его каторжными муками. Об официальных попытках коменданта облегчить участь писателя мы знаем немного. Священнослужитель Омского кадетского корпуса А.И. Сулоцкий в одном из писем жене декабриста Наталье Дмитриевне Фонвизиной рассказывает, что комендант справлялся у генерал-губернатора Западной Сибири П.Д. Горчакова о возможности поблажек политическим преступникам. 20 февраля 1852 года А.Ф. де Граве посылает в Петербург запрос о том, заслуживают ли Достоевский и С.Ф. Дуров «быть причисленными к военно-срочному разряду арестантов». Положительный ответ сократил бы Достоевскому срок каторги на полгода. В этом же рапорте комендант, называя имена томившихся в остроге литераторов, спрашивает, «должно ли освобождать их и подобных им от ножных оков». На оба эти запроса монаршего соизволения не последовало. О коменданте Омской крепости хранили память в семье Достоевских. После смерти писателя его жена Анна Григорьевна, собирая все значительное, связанное с биографией мужа, отыскала фотографию А.Ф. де Граве и хранила ее в своем альбоме. Эта деталь говорит о многом.

Сохранился не только этот редкий снимок, но и словесный портрет коменданта. «Алексей Федорович де Граве, высокого роста, массивный и тучный старик, лет 60-ти от роду, но еще бодрый, крепкий и легкий на подъем, веселого и живого нрава, с добродушной улыбкой и громким раскатистым смехом (...) Дело свое исполнял добросовестно и, по возможности, облегчал положение находившихся в крепостном остроге арестантов».

Четыре каторжных года тянулись бесконечно долго, и, казалось, им не будет конца... «Каторга его не любила, но признавала его нравственный авторитет, — пишет П.К. Мартыанов, — мрачно, не без ненависти к превосходству, смотрела на него и молча сторонилась. Видя это, он сам сторонился от всех, и только в редких случаях, когда ему было тяжело или невыносимо грустно, вступал в разговор с некоторыми из арестантов». Круг тем для разговоров был ограничен. О чем говорить с барином? О преступлениях, приведших в острог, говорить не принято. «Понятия об нашем преступлении, — писал Достоевский брату, рассказывая о том, как складывались отношения между ним и каторжанами, — они не имели. Мы об этом молчали сами, и потому друг друга не понимали, так что нам пришлось выдержать все мщение и преследование, которым они живут и дышат к дворянскому сословию. Жить нам было очень худо».

«Постоянное душевное беспокойство, нервическое раздражение, спертый воздух казармы могли бы разрушить меня совершенно». Эти слова, вложенные Достоевским в уста Горянчикова, автобиографичны. Обстоятельства, упомянутые выше, наложили отпечаток на здоровье Достоевского. В каторге у него развилась падучая (эпилепсия) — болезнь, которая мучила писателя всю его жизнь. После тяжелых приступов болезни Достоевского отправляли на поправку в арестантские палаты военного госпиталя.

Госпиталь «стоял особняком в полуверсте от крепости. Это было длинное одноэтажное здание, окрашенное желтой краской. На огромном дворе госпиталя помещались службы, дома для медицинского начальства и прочие пригодные постройки. В главном же корпусе располагались одни только палаты. Палат было много, но арестантских только две, всегда очень наполненных, но особенно летом, так что приходилось сдвигать кровати».

А.И. Сулоцкий писал в Тобольск М.А. Фонвизину 11 февраля 1850 года: «< > Достоевский все в лазарете, главный лекарь Троицкий, по просьбе Ивана Викентьевича (Ждан-Пушкина, инспектора классов кадетского корпуса, - В.В.), толковал с ним, предлагал ему лучшую пищу, иногда и вино, но он отказывается от всего этого, а просит только о том, чтобы принимать почаще в лазарет и помещать в сухой комнате». Просьба эта была исполнена. Уже 15 февраля Сулоцкий сообщал Фонвизиним: «Он (С.Ф. Дуров, поэт-петрашевец, отбывавший каторгу вместе с Достоевским. — В.В.) и г. Достоевский очень благодарны, замечая, что главный лекарь принимает в них участие. Мы

через Троицкого наконец добились позволения пересылать им по кр[айней] ме[ре] книги св. Писания и духовные журналы». О старшем докторе военного госпиталя тепло говорится в «Записках из Мертвого дома». Причем благодарное отношение к нему высказано здесь прямее, чем, предположим, к коменданту крепости. Служебное положение позволяло Троицкому относиться ко всем арестантам гуманно и, соответственно, давало возможность более подробно и открыто говорить об оказываемой им помощи. «Повторяю, — пишет Достоевский, — арестанты не нахвалились своими лекарями, считали их за отцов, уважали их. С лекарем бы никто не спросил, если б они обращались иначе, то есть грубее и бесчеловечней, — следовательно, они были добры из настоящего человеколюбия». Старший доктор характеризуется в «Записках...» как «човеколюбивый и честный человек», но он «при случае выказывал суровую строгость и за это его у нас как-то особенно уважали». Арестанты, попавшие в госпиталь, были для него, в первую очередь, больными людьми, и поэтому он «свидетельствовал каждого поодиночке, особенно останавливался над трудными больными, всегда умел сказать им доброе, ободрительное, даже задушевное слово, и вообще производил хорошее впечатление». П.К. Мартьянов оставил следующий портрет этого человека: «Иван Иванович Троицкий < > топором срубленный и лыком сшитый человек, действительно вполне достоин был порученного ему места. Он начал службу ординатором в одном из госпиталей новгородского военного поселения (кажется, в Старой Руссе) и во время бунта крестьян, в 1831 году переделался в солдатское платье и три дня исполнял, вместе с другими нижними чинами, обязанности госпитального служителя. Затем, перейдя на службу в Западную Сибирь, он достиг высокого положения штаб-доктора, благодаря своим заботам, попечительности и гуманному отношению ко всем больным без исключения, начиная с высшего начальства и кончая последним арестантом-преступником». В Омск штаб-лекарь И.И. Троицкий был назначен в батальон военных кантонистов (в России в 1805—1856 гг. кантонистами назывались солдатские сыновья, со дня рождения приписанные к военному ведомству). Незадолго до прибытия в острог Достоевского И.И. Троицкий, уже коллежский советник, назначен «главным лекарем» в Омский военный госпиталь.

В госпитале Достоевский мог получать дополнительное питание. 18 августа 1850 года А.И. Сулоцкий пишет М.А. Фонвизину: «О страдальцах только и знаю, что они почти постоянно в лазарете и что, когда живут тут, пользуются столом от главного лекаря Троицкого». Об этом заботилась жена Троицкого — ее П.К. Мартьянов назвал «прелестнейшей и добрейшей женщиной, каких судьба посылает на землю только по одной в десятилетие».

В первом же письме, написанном брату после выхода из каторги, Достоевский писал: «Если я узнал не Россию, так народ русский хорошо, и так хорошо, как, может быть, не многие знают его».

Пройдя каторгу, писатель стал ощущать себя выразителем интересов народа. «Нет ничего труднее, как войти к народу в доверенность, — писал он, — и особенно к такому народу, и заслужить его любовь». Грош цена, по Достоевскому, всем «народным витиям», всем тем, кто до хрипоты в горле спорит о народном благе, пытаясь научить и направить народ на путь истинный. «Немногому могут научить народ мудрецы наши. Даже утвердительно скажу, — напротив: сами они еще должны у него поучиться». Эти слова эхом отзвучат в знаменитой Пушкинской речи Достоевского, венчающей его жизнь и творчество: «Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость. Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудись на родной ниве».

На Омской каторге произошло перерождение убеждений Достоевского.

Находясь постоянно в окружении людей и никогда один, он ощущал в себе огромную духовную работу. «Во все мои четыре года каторги я вспоминал беспрерывно все мое прошедшее и, кажется, в воспоминаниях пережил всю мою прежнюю жизнь снова. Эти воспоминания вставали сами, я редко вызывал их по своей воле. < > Я анализировал эти впечатления, придавал новые черты уже давно прожитому и, главное, поправлял его, поправлял беспрерывно, в этом состояла вся забава моя». В каком направлении происходила эта работа? Как справедливо заметил Л. Шестов, «история перерождения убеждений — это прежде всего история их рождений». На каторге, разглядев «под грубой корой» наносного величайшую самобытность русского народа, Достоевскому захотелось не только потребовать от виновных отчета «о всех жертвах наших братьев по крови», но добиться сначала облегчения страданий, а затем и улучшения

жизни всех униженных и оскорбленных. Истоки силы, столь необходимой для «делателя», Достоевский находил в вере. Чем ярче полыхал огонь в «горниле испытаний», выпадавших на его долю, тем сильнее жаждал он, «как трава иссохшая», веры, тем яростнее и непоколебимее становилась его «осанна». На каторге у него сложился новый, глубоко личный символ веры: «Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной». Его вера, в силу страстности и деятельности натуры, не могла быть абстрактной и пассивной. Он должен был во что бы то ни стало доказать правильность намеченного им пути. Действительность же давала слишком много искушений сбиться на ненависть, отчаяние, впасть в депрессию, увидев всю громадность зла и неподъёмность усилий для его преодоления. «Я утверждаю, — писал Ф.М. Достоевский в «Дневнике писателя» за 1876 год, — что сознание совершенного своего бессилия помочь или принести хоть какую-нибудь пользу или облегчение страдающему человечеству, в то же время при полном вашем убеждении в этом страдании может даже *обратить в сердце вашем любовь к человечеству в ненависть к нему* (курсив Достоевского — В.В.)». Вслед за Пушкиным Достоевский стремился узнать народ, полюбить его святыни, сделать их своими, стать вместе с народом, служить ему и России всеми своими силами. На омской каторге Достоевский понял, что ни одна теория общественного развития не будет реализована, если не будет найдена «точка соприкосновения с народом». «Как сделать первый шаг к сближению с ним, — вот вопрос, вот забота, которая должна быть разделяема всеми, кому дорого русское имя, всеми, кто любит народ и дорожит его счастьем. А счастье его — счастье наше».

Главный пункт, на котором, по Достоевскому, люди сойдутся, это убежденность в приоритете духовных ценностей над материальными. «В слишком уж большой части интеллигентного слоя русского < > все более и более и с чрезвычайною прогрессивною быстротою укореняется совершенное неверие в свою душу и ее бессмертие». Это вселяло в сознание писателя «ужасное опасение за наше будущее». Без веры в свое бессмертие, пишет Достоевский, порываются связи человека с землей, становятся тоньше, гнилее. Человека и общество захлестывает цинизм, страсть к исключительно земным радостям, а ведь все идеи, все мысли на земле вытекают из высшей идеи «о бессмертии души человеческой». Достоевский был глубоко убежден, что мир спасет красота человеческих отношений, высота и величие поступков, жертвенность людей друг перед другом. «Самовольное, совершенно сознательное и никем не принужденное самопожертвование всего себя в пользу всех, — учил он, — есть признак высочайшего самообладания, высочайшей свободы собственной воли. Добровольно положить свой живот за всех, пойти за всех на костер, можно сделать только при самом сильном развитии личности. < > Как же сделать? Сделать никак нельзя, а надо, чтоб *оно само собой сделалось, чтоб оно было в натуре*, бессознательно в природе всего племени заключалось, одним словом: чтоб было братское, любящее начало — надо любить».

Вайнерман, В. Омская каторга и «перерождение убеждений» Достоевского / Виктор Вайнерман // Миненко Н. А. Из XVIII века – в век XXI : история Омска / Миненко Н. А., Рыженко В. Г. – Санкт-Петербург, 2006. – С. 114–119.